

1

Он вошел в мою жизнь в феврале 1932-го — и остался уже навсегда. С тех пор миновало больше четверти века, больше девяти тысяч дней — бессмысленных и пустых, пронизанных ощущением бесполезных усилий или работы без всякой надежды, — дней и лет, многие из которых мертвы, как увядшие листья на мертвом дереве.

Я хорошо помню тот день и час, когда впервые увидел этого мальчика, которому суждено было стать источником моего величайшего счастья и моего величайшего горя. Это произошло через два дня после моего шестнадцатого дня рождения, в три часа пополудни, серой, унылой и мрачной немецкой зимой. Я сидел на уроке в гимназии имени Карла Александра, старейшей гимназии Вюртемберга, основанной в 1521-м, в тот самый год, когда Лютер держал речь перед Карлом V, королем Испании и императором Священной Римской империи.

Я помню все до мельчайших подробностей: классную комнату с массивными партами и скамьями, чуть кисловатый, отдающий плесенью запах сорока влажных зимних шинелей, лужицы талого снега, коричневато-желтые пятна на серых стенах, где раньше, до революции, висели портреты кайзера Вильгельма* и короля Вюртемберга. Я закрываю глаза и как будто воочию вижу спины своих однокашников, многие из которых позднее погибли в русских степях или в песках под Эль-Аламейном**. Я по-прежнему слышу усталый, разочарованный голос герра Циммермана, приговоренного к пожизненному учительству и принявшего свою судьбу с печальным смирением. Это был человек с желтовато-землистым лицом, с щедро тронутыми сединой волосами, усами и остроконечной бородкой. Он смотрел на мир сквозь пенсне на кончике носа с выражением голодной дворняги в поисках пропитания. Вряд ли ему было больше пятидесяти, но нам он казался восьмидесятилетним старцем. Мы его презирали, потому что он был добрым и мягким, и еще потому, что от него пахло бедностью. В его двухкомнатной квартирке, наверное, не было

* Вильгельм II (1859–1942) — последний император Германии.

** Имеется в виду битва при Эль-Аламейне (город на севере Египта) осенью 1942 года во время Второй мировой войны.

ванной, и он всегда ходил в одном и том же костюме, потертом, лоснящемся, латанном-перелатанном зеленоватом костюме, который носил всю осень и всю долгую зиму (у него был еще один костюм, на весну и лето). Мы держались с ним неуважительно, а иногда и жестоко, как это свойственно молодым и здоровым мальчишкам по отношению к слабым, старым и беззащитным.

Уже смеркалось, хотя было еще не настолько темно, чтобы зажигать свет, и за окном ясно виднелась гарнизонная церковь, уродливое сооружение конца XIX века, но сейчас даже красивое: из-за снега, что покрывал две его башни, пронзавшие тускло-свинцовое небо. Красивыми были и белые заснеженные холмы, окружавшие мой родной город, а там, за холмами, мир как будто кончался, и начиналась великая тайна. Я сидел полусонный, что-то чертил в тетрадке, о чем-то грезил, периодически вырывал у себя из головы волосок, чтобы не заснуть прямо за партой, и тут раздался стук в дверь. Прежде чем герр Циммерман успел крикнуть «Herein*», дверь распахнулась и в класс вошел наш директор, профессор Клетт. Но на директора никто не смотрел, все взгляды были прикованы к незнакомцу,

* Войдите (нем.).

вошедшему следом за ним, словно Федр за Сократом.

Мы все уставились на него, словно увидели привидение. Что меня поразило больше всего — и, наверное, не меня одного, но и всех остальных, — не его уверенная манера себя держать, не исходявшая от него аура аристократизма, не его тонкая, неуловимо надменная улыбка, а его элегантный наряд. Мы все одевались, прямо скажем, тоскливо. Наши матери полагали, что для школы сойдется любая одежда, главное, чтобы она была прочной и немаркой. Тогда мы еще не особенно интересовались девчонками, и поэтому не возражали, чтобы нас одевали в страшненькие, но практичные, ноские бриджи и пиджаки, купленные в надежде, что они не износятся раньше, чем мы из них вырастем.

Но этот мальчик был одет совсем иначе. Он носил настоящие длинные брюки, прекрасно скроенные и явно пошитые на заказ, а не купленные в магазине готового платья. Его костюм смотрелся дорого: светло-серый, в «елочку» и почти наверняка «гарантированно английский». Голубая рубашка, синий галстук в мелкий белый горошек; по сравнению с ним наши галстуки казались грязными и засаленными удавками. И хотя мы все презирали чистюль и модников,

считая их маменькиными сынками, мы все равно не могли удержаться от зависти, глядя на этот образчик достоинства и элегантности.

Профессор Клетт подошел к герру Циммерману, что-то шепнул ему на ухо и исчез, не замеченный нами, потому что все взгляды были прикованы к новичку. Он стоял неподвижно, совершенно спокойно, не проявляя ни робости, ни волнения. Он почему-то казался старше, взрослее всех нас, и было трудно поверить, что это просто еще один новенький мальчик, который будет учиться с нами. Мы бы не удивились, если бы он исчез так же загадочно и безмолвно, как появился.

Герр Циммерман поправил пенсне на носу, устало оглядел классную комнату, увидел свободное место прямо передо мной, спустился со своего возвышения и — к изумлению всего класса — проводил новичка до парты. Потом слегка наклонил голову, словно хотел поклониться, но все-таки не осмелился, и медленно пошел обратно, пятясь спиной вперед и лицом к незнакомцу. Вновь усевшись за учительский стол, он обратился к новичку:

— Назовите, пожалуйста, вашу фамилию, имя, данное при крещении, дату и место рождения.

Новичок встал из-за парты.

— Граф фон Хоэнфельс, Конрадин, — объявил он. — Родился девятнадцатого января тысяча девятьсот шестнадцатого года, в Хоэнфельсе, в Вюртемберге.

И сел на место.